# Перекати‑поле

# Антон Павлович Чехов

# Путевой набросок

Я возвращался со всенощной. Часы на святогорской колокольне, в виде предисловия, проиграли свою тихую, мелодичную музыку и вслед за этим пробили двенадцать. Большой монастырский двор, расположенный на берегу Донца у подножия Святой Горы и огороженный, как стеною, высокими гостиными корпусами, теперь, в ночное время, когда его освещали только тусклые фонари, огоньки в окнах да звезды, представлял из себя живую кашу, полную движения, звуков и оригинальнейшего беспорядка. Весь он, от края до края, куда только хватало зрение, был густо запружен всякого рода телегами, кибитками, фургонами, арбами, колымагами, около которых толпились темные и белые лошади, рогатые волы, суетились люди, сновали во все стороны черные, длиннополые послушники; по возам, по головам людей и лошадей двигались тени и полосы света, бросаемые из окон, — и все это в густых сумерках принимало самые причудливые, капризные формы: то поднятые оглобли вытягивались до неба, то на морде лошади показывались огненные глаза, то у послушника вырастали черные крылья... Слышались говор, фырканье и жеванье лошадей, детский писк, скрип. В ворота входили новые толпы и въезжали запоздавшие телеги.

Сосны, которые громоздились на отвесной горе одна над другой и склонялись к крыше гостиного корпуса, глядели во двор, как в глубокую яму, и удивленно прислушивались; в их темной чаще, не умолкая, кричали кукушки и соловьи... Глядя на сумятицу, прислушиваясь к шуму, казалось, что в этой живой каше никто никого не понимает, все чего‑то ищут и не находят и что этой массе телег, кибиток и людей едва ли удастся когда‑нибудь разъехаться.

К дням Иоанна Богослова и Николая Чудотворца в Святые Горы стеклось более десяти тысяч. Были битком набиты не только гостиные корпуса, но даже пекарня, швальня, столярная, каретная... Те, которые явились к ночи, в ожидании, пока им укажут место для ночлега, как осенние мухи, жались у стен, у колодцев или же в узких коридорчиках гостиницы. Послушники, молодые и старые, находились в непрерывном движении, без отдыха и без надежды на смену. Днем и позднею ночью они одинаково производили впечатление людей, куда‑то спешащих и чем‑то встревоженных, лица их, несмотря на крайнее изнеможение, одинаково были бодры и приветливы, голос ласков, движения быстры... Каждому приехавшему и пришедшему они должны были найти и указать место для ночлега, дать ему поесть и напиться; кто был глух, бестолков или щедр на вопросы, тому нужно было долго и мучительно объяснять, почему нет пустых номеров, в какие часы бывает служба, где продаются просфоры и т. д. Нужно было бегать, носить, неумолкаемо говорить, но мало того, нужно еще быть любезным, тактичным, стараться, чтобы мариупольские греки, живущие комфортабельнее, чем хохлы, помещались не иначе как с греками, чтобы какая‑нибудь бахмутская или лисичанская мещанка, одетая «благородно», не попала в одно помещение с мужиками и не обиделась. То и дело слышались возгласы: «Батюшка, благословите кваску! Благословите сенца!» Или же: «Батюшка, можно мне после исповеди воды напиться?» И послушник должен был выдавать квас, сена или же отвечать: «Обратитесь, матушка, к духовнику. Мы не имеем власти разрешать». Следовал новый вопрос: «А где духовник?» И нужно было объяснять, где келия духовника... При такой хлопотливой деятельности хватало еще времени ходить в церковь на службу, служить на дворянской половине и пространно отвечать на массу праздных и непраздных вопросов, какими любят сыпать интеллигентные богомольцы. Приглядываясь к ним в течение суток, трудно было понять, когда сидят и когда спят эти черные движущиеся фигуры.

Когда я, возвращаясь со всенощной, подошел к корпусу, в котором мне было отведено помещение, на пороге стоял монах‑гостинник, а возле него толпилось на ступенях несколько мужчин и женщин в городском платье.

— Господин, — остановил меня гостинник, — будьте добры, позвольте вот этому молодому человеку переночевать в вашем номере! Сделайте милость! Народу много, а мест нет — просто беда!

И он указал на невысокую фигуру в легком пальто и в соломенной шляпе. Я согласился, и мой случайный сожитель отправился за мной. Отпирая у своей двери висячий замочек, я всякий раз, хочешь не хочешь, должен был смотреть на картину, висевшую у самого косяка на уровне моего лица. Эта картина с заглавием «Размышление о смерти» изображала коленопреклоненного монаха, который глядел в гроб и на лежавший в нем скелет; за спиной монаха стоял другой скелет, покрупнее и с косою.

— Кости такие не бывают, — сказал мой сожитель, указывая на то место скелета, где должен быть таз. — Вообще, знаете ли, духовная пища, которую подают народу, не первого сорта, — добавил он и испустил носом протяжный, очень печальный вздох, который должен был показать мне, что я имею дело с человеком, знающим толк в духовной пище.

Пока я искал спички и зажигал свечу, он еще раз вздохнул и сказал:

— В Харькове я несколько раз бывал в анатомическом театре и видел кости. Был даже в мертвецкой. Я не стесняю вас?

Мой номер был мал и тесен, без стола и стульев, весь занятый комодом у окна, печью и двумя деревянными диванчиками, стоявшими у стен друг против друга и отделенными узким проходом. На диванчиках лежали тощие, порыжевшие матрасики и мои вещи. Диванов было два, — значит, номер предназначался для двоих, на что я и указал сожителю.

— Впрочем, скоро зазвонят к обедне, — сказал он, — и мне недолго придется стеснять вас.

Всё еще думая, что он меня стесняет, и чувствуя неловкость, он виноватою походкою пробрался к своему диванчику, виновато вздохнул и сел. Когда сальная свечка, кивая своим ленивым и тусклым огнем, достаточно разгорелась и осветила нас обоих, я мог уже разглядеть его. Это был молодой человек лет двадцати двух, круглолицый, миловидный, с темными детскими глазами, одетый по‑городски во всё серенькое и дешевое и, как можно было судить по цвету лица и по узким плечам, не знавший физического труда. Типа он казался самого неопределенного. Его нельзя было принять ни за студента, ни за торгового человека, ни тем паче за рабочего, а глядя на миловидное лицо и детские, ласковые глаза, не хотелось думать, что это один из тех праздношатаев‑пройдох, которыми во всех общежительных пустынях, где кормят и дают ночлег, хоть пруд пруди и которые выдают себя за семинаристов, исключенных за правду, или за бывших певчих, потерявших голос... Было в его лице что‑то характерное, типичное, очень знакомое, но что именно — я никак не мог ни понять, ни вспомнить.

Он долго молчал и о чем‑то думал. Вероятно, после того, как я не оценил его замечания насчет костей и мертвецкой, ему казалось, что я сердит и не рад его присутствию. Вытащив из кармана колбасу, он повертел ее перед глазами и сказал нерешительно:

— Извините, я вас побеспокою... У вас нет ножика?

Я дал ему нож.

— Колбаса отвратительная, — поморщился он, отрезывая себе кусочек. — В здешней лавочке продают дрянь, но дерут ужасно... Я бы вам одолжил кусочек, но вы едва ли согласитесь кушать. Хотите?

В его «одолжил» и «кушать» слышалось тоже что‑то типичное, имевшее очень много общего с характерным в лице, но что именно, я всё еще не мог никак понять. Чтобы внушить к себе доверие и показать, что я вовсе не сержусь, я взял предложенный им кусочек. Колбаса действительно была ужасная; чтобы сладить с ней, нужно было иметь зубы хорошей цепной собаки. Работая челюстями, мы разговорились. Начали с того, что пожаловались друг другу на продолжительность службы.

— Здешний устав приближается к афонскому, — сказал я, — но на Афоне обыкновенная всенощная продолжается 10 часов, а под большие праздники — 14. Вот там бы вам помолиться!

— Да! — сказал мой сожитель и покрутил головой. — Я здесь три недели живу. И знаете ли, каждый день служба, каждый день служба... В будни в 12 часов звонят к заутрени, в 5 часов к ранней обедне, в 9 — к поздней. Спать совсем невозможно. Днем же акафисты, правила, вечерни... А когда я говел, так просто падал от утомления. — Он вздохнул и продолжал: — А не ходить в церковь неловко... Дают монахи номер, кормят, и как‑то, знаете ли, совестно не ходить. Оно ничего, день, два, пожалуй, можно постоять, но три недели тяжело! Очень тяжело! Вы надолго сюда?

— Завтра вечером уезжаю.

— А я еще две недели проживу.

— Но здесь, кажется, не принято так долго жить? — сказал я.

— Да, это верно, кто здесь долго живет и объедает монахов, того просят уехать. Судите сами, если позволить пролетариям жить здесь сколько им угодно, то не останется ни одного свободного номера, и они весь монастырь съедят. Это верно. Но для меня монахи делают исключение и, надеюсь, еще не скоро меня отсюда прогонят. Я, знаете ли, новообращенный.

— То есть?

— Я еврей, выкрест... Недавно принял православие.

Теперь я уже понял то, чего раньше никак не мог понять на его лице: и толстые губы, и манеру во время разговора приподнимать правый угол рта и правую бровь, и тот особенный масленистый блеск глаз, который присущ одним только семитам, понял я и «одолжил», и «кушать»... Из дальнейшего разговора я узнал, что его зовут Александром Иванычем, а раньше звали Исааком, что он уроженец Могилевской губернии и в Святые Горы попал из Новочеркасска, где принимал православие.

Одолев колбасу, Александр Иваныч встал и, приподняв правую бровь, помолился на образ. Бровь так и осталась приподнятой, когда он затем опять сел на диванчик и стал рассказывать мне вкратце свою длинную биографию.

— С самого раннего детства я питал любовь к учению, — начал он таким тоном, как будто говорил не о себе, а о каком‑то умершем великом человеке. — Мои родители — бедные евреи, занимаются грошовой торговлей, живут, знаете ли, по‑нищенски, грязно. Вообще весь народ там бедный и суеверный, учения не любят, потому что образование, понятно, отдаляет человека от религии... Фанатики страшные... Мои родители ни за что не хотели учить меня, а хотели, чтобы я тоже занимался торговлей и не знал ничего, кроме талмуда... Но всю жизнь биться из‑за куска хлеба, болтаясь в грязи, жевать этот талмуд, согласитесь, не всякий может. Бывало, в корчму к папаше заезжали офицеры и помещики, которые рассказывали много такого, чего я тогда и во сне не видел, ну, конечно, было соблазнительно и разбирала зависть. Я плакал и просил, чтобы меня отдали в школу, а меня выучили читать по‑еврейски и больше ничего. Раз я нашел русскую газету, принес ее домой, чтобы из нее сделать змей, так меня побили за это, хотя я и не умел читать по‑русски. Конечно, без фанатизма нельзя, потому что каждый народ инстинктивно бережет свою народность, но я тогда этого не знал и очень возмущался...

Сказав такую умную фразу, бывший Исаак от удовольствия поднял правую бровь еще выше и поглядел на меня как‑то боком, как петух на зерно, и с таким видом, точно хотел сказать: «Теперь наконец вы убедились, что я умный человек?» Поговорив еще о фанатизме и о своем непреодолимом стремлении к просвещению, он продолжал:

— Что было делать! Я взял и бежал в Смоленск.

А там у меня был двоюродный брат, который лудил посуду и делал жестянки. Понятно, я нанялся к нему в подмастерья, так как жить мне было нечем, ходил я босиком и оборванный... Думал так, что днем буду работать, а ночью и по субботам учиться. Я так и делал, но узнала полиция, что я без паспорта, и отправила меня по этапу назад к отцу...

Александр Иваныч пожал одним плечом и вздохнул.

— Что будешь делать! — продолжал он, и чем ярче воскресало в нем прошлое, тем сильнее чувствовался в его речи еврейский акцент. — Родители наказали меня и отдали дедушке, старому еврею‑фанатику, на исправление. Но я ночью ушел в Шклов. А когда в Шклове ловил меня мой дядя, я пошел в Могилев; там пробыл два дня и с товарищем пошел в Стародуб.

Далее рассказчик перебрал в своих воспоминаниях Гомель, Киев, Белую Церковь, Умань, Балту, Бендеры и, наконец, добрался до Одессы.

— В Одессе я целую неделю ходил без деда и голодный, пока меня не приняли евреи, которые ходят по городу и покупают старое платье. Я уж умел тогда читать и писать, знал арифметику до дробей и хотел поступить куда‑нибудь учиться, но не было средств. Что делать! Полгода ходил я по Одессе и покупал старое платье, но евреи, мошенники, не дали мне жалованья, я обиделся и ушел. Потом на пароходе я уехал в Перекоп.

— Зачем?

— Так. Один грек обещал мне дать там место. Одним словом, до 16 лет ходил я так, без определенного дела и без почвы, пока не попал в Полтаву. Тут один студент‑еврей узнал, что я желаю учиться, и дал мне письмо к харьковским студентам. Конечно, я пошел в Харьков. Студенты посоветовались и начали готовить меня в техническое училище. И знаете, я вам скажу, студенты мне попались такие, что я не забуду их до самой смерти. Не говорю уж про то, что они дали мне квартиру и кусок хлеба, они поставили меня на настоящую дорогу, заставили меня мыслить, указали цель жизни. Между ними были умные, замечательные люди, которые уж и теперь известны. Например, вы слыхали про Грумахера?

— Нет, не слыхал.

— Не слыхали... Писал очень умные статьи в харьковских газетах и готовился в профессора. Ну, я много читал, участвовал в студенческих кружках, где не услышишь пошлостей. Приготовлялся я полгода, но так как для технического училища нужно знать весь гимназический курс математики, то Грумахер посоветовал мне готовиться в ветеринарный институт, куда принимают из шестого класса гимназии. Конечно, я стал готовиться. Я не желал быть ветеринаром, но мне говорили, что кончивших курс в институте принимают без экзамена на третий курс медицинского факультета. Я выучил всего Кюнера, уж читал аливрувер (17) Корнелия Непота и по греческому языку прошел почти всего Курциуса, но, знаете ли, то да се... студенты разъехались, неопределенность положения, а тут еще я услыхал, что приехала моя мамаша и ищет меня по всему Харькову. Тогда я взял и уехал. Что будешь делать! Но, к счастью, я узнал, что здесь на Донецкой дороге есть горное училище. Отчего не поступить? Ведь вы знаете, горное училище дает права штегера — должность великолепная, а я знаю шахты, где штегера получают полторы тысячи в год. Отлично... Я поступил...

Александр Иваныч с выражением благоговейного страха на лице перечислил дюжины две замысловатых наук, преподаваемых в горном училище, и описал самое училище, устройство шахт, положение рабочих... Затем он рассказал страшную историю, похожую на вымысел, но которой я не мог не поверить, потому что уж слишком искренен был тон рассказчика и слишком откровенно выражение ужаса на его семитическом лице.

— А во время практических занятий, какой однажды был со мной случай! — рассказывал он, подняв обе брови. — Был я на одних шахтах тут, в Донецком округе. А вы ведь видели, как люди спускаются в самый рудник. Помните, когда гонят лошадь и приводят в движение ворот, то по блоку одна бадья спускается в рудник, а другая поднимается, когда же начнут поднимать первую, тогда опускается вторая — всё равно, как в колодце с двумя ушатами. Ну, сел я однажды в бадью, начинаю спускаться вниз, и можете себе представить, вдруг слышу — тррр! Цепь разорвалась, и я полетел к чёрту вместе с бадьей и обрывком цепи... Упал с трехсаженной вышины прямо грудью и животом, а бадья, как более тяжелая вещь, упала раньше меня, и я ударился вот этим плечом об ее ребро. Лежу, знаете, огорошенный, думаю, что убился насмерть, и вдруг вижу — новая беда: другая бадья, что поднималась вверх, потеряла противовес и с грохотом опускается вниз прямо на меня... Что будете делать? Видя такой факт, я прижался к стене, съежился, жду, что вот‑вот сейчас эта бадья со всего размаха трахнет меня по голове, вспоминаю папашу и мамашу, и Могилев, и Грумахера... молюсь богу, но, к счастью... Даже вспомнить страшно.

Александр Иваныч насильно улыбнулся и вытер ладонью лоб.

— Но, к счастью, она упала возле и только слегка зацепила этот бок... Содрала, знаете, с этого бока сюртук, сорочку и кожу... Сила страшная. Потом я был без чувств. Меня вытащили и отправили в больницу. Лечился я четыре месяца, и доктора сказали, что у меня будет чахотка. Я теперь всегда кашляю, грудь болит и страшное психологическое расстройство... Когда я остаюсь один в комнате, мне бывает очень страшно. Конечно, при таком здоровье уже нельзя быть штегером. Пришлось бросить горное училище...

— А теперь чем вы занимаетесь? — спросил я.

— Я держал экзамен на сельского учителя. Теперь ведь я православный и имею право быть учителем. В Новочеркасске, где я крестился, во мне приняли большое участие и обещали место в церковно‑приходской школе. Через две недели поеду туда и опять буду просить.

Александр Иваныч снял пальто и остался в одной сорочке с вышитым русским воротом и с шерстяным поясом.

— Спать пора, — сказал он, кладя в изголовье свое пальто и зевая. — Я, знаете ли, до последнего времени совсем не знал бога. Я был атеист. Когда лежал в больнице, я вспомнил о религии и начал думать на эту тему. По моему мнению, для мыслящего человека возможна только одна религия, а именно христианская. Если не веришь в Христа, то уж больше не во что верить... Не правда ли? Иудаизм отжил свой век и держится еще только благодаря особенностям еврейского племени. Когда цивилизация коснется евреев, то из иудаизма не останется и следа. Вы заметьте, все молодые евреи уже атеисты. Новый завет есть естественное продолжение Ветхого. Не правда ли?

Я стал выведывать у него причины, побудившие его на такой серьезный и смелый шаг, как перемена религии, но он твердил мне только одно, что «Новый завет есть естественное продолжение Ветхого» — фразу, очевидно, чужую и заученную и которая совсем не разъясняла вопроса. Как я ни бился и ни хитрил, причины остались для меня темными. Если можно было верить, что он, как утверждал, принял православие по убеждению, то в чем состояло и на чем зиждилось это убеждение — из его слов понять было невозможно; предположить же, что он переменил веру ради выгоды, было тоже нельзя: дешевая, поношенная одежонка, проживание на монастырских хлебах и неопределенное будущее мало походили на выгоды. Оставалось только помириться на мысли, что переменить религию побудил моего сожителя тот же самый беспокойный дух, который бросал его, как Щепку, из города в город и который он, по общепринятому шаблону, называл стремлением к просвещению.

Перед тем как ложиться спать, я вышел в коридор, чтобы напиться воды. Когда я вернулся, мой сожитель стоял среди номера и испуганно глядел на меня. Лицо его было бледно‑серо, и на лбу блестел пот.

— У меня ужасно нервы расстроены, — пробормотал он, болезненно улыбаясь, — ужасно! Сильное психологическое расстройство. Впрочем, всё это пустяки.

И он опять стал толковать о том, что Новый завет есть естественное продолжение Ветхого, что иудаизм отжил свой век. Подбирая фразы, он как будто старался собрать все силы своего убеждения и заглушить ими беспокойство души, доказать себе, что, переменив религию отцов, он не сделал ничего страшного и особенного, а поступил, как человек мыслящий и свободный от предрассудков, и что поэтому он смело может оставаться в комнате один на один со своею совестью. Он убеждал себя и глазами просил у меня помощи...

Между тем на сальной свечке нагорел большой, неуклюжий фитиль. Уже светало. В хмурое, посиневшее окошко видны были уже ясно оба берега Донца и дубовая роща за рекой. Нужно было спать.

— Завтра здесь будет очень интересно, — сказал мой сожитель, когда я потушил свечку и лег. — После ранней обедни крестный ход поедет на лодках из монастыря в скит.

Подняв правую бровь и склонив голову на бок, он помолился образу и, не раздеваясь, лег на свой диванчик.

— Да, — сказал он, повернувшись на другой бок.

— Что — да? — спросил я.

— Когда я в Новочеркасске принял православие, моя мамаша искала меня в Ростове. Она чувствовала, что я хочу переменить веру. — Он вздохнул и продолжал: — Уже шесть лет как я не был там, в Могилевской губернии. Сестра, должно быть, уже замуж вышла.

Помолчав немного и видя, что я еще не уснул, он стал тихо говорить о том, что скоро, слава богу, ему дадут место, и он наконец будет иметь свой угол, определенное положение, определенную пищу на каждый день... Я же, засыпая, думал, что этот человек никогда не будет иметь ни своего угла, ни определенного положения, ни определенной пищи. Об учительском месте он мечтал вслух, как об обетованной земле; подобно большинству людей, он питал предубеждение к скитальчеству и считал его чем‑то необыкновенным, чуждым и случайным, как болезнь, и искал спасения в обыкновенной будничной жизни. В тоне его голоса слышались сознание своей ненормальности и сожаление. Он как будто оправдывался и извинялся.

Не далее как на аршин от меня лежал скиталец; за стенами в номерах и во дворе, около телег, среди богомольцев не одна сотня таких же скитальцев ожидала утра, а еще дальше, если суметь представить себе всю русскую землю, какое множество таких же перекати‑поле, ища где лучше, шагало теперь по большим и проселочным дорогам или, в ожидании рассвета, дремало в постоялых дворах, корчмах, гостиницах, на траве под небом... Засыпая, я воображал себе, как бы удивились и, быть может, даже обрадовались все эти люди, если бы нашлись разум и язык, которые сумели бы доказать им, что их жизнь так же мало нуждается в оправдании, как и всякая другая.

Во сне я слышал, как за дверями жалобно, точно заливаясь горючими слезами, прозвонил колокольчик и послушник прокричал несколько раз:

— Господи Иисусе Христе сыне божий, помилуй нас! Пожалуйте к обедне!

Когда я проснулся, моего сожителя уже не было в номере. Было солнечно, и за окном шумел народ. Выйдя, я узнал, что обедня уже кончилась, и крестный ход давно уже отправился в скит. Народ толпами бродил по берегу и, чувствуя себя праздным, не знал, чем занять себя; есть и пить было нельзя, так как в скиту еще не кончилась поздняя обедня; монастырские лавки, где богомольны так любят толкаться и прицениваться, были еще заперты. Многие, несмотря на утомление, от скуки брели в скит. Тропинка от монастыря до скита, куда я отправился, змеей вилась по высокому крутому берегу то вверх, то вниз, огибая дубы и сосны. Внизу блестел Донец и отражал в себе солнце, вверху белел меловой скалистый берег и ярко зеленела на нем молодая зелень дубов и сосен, которые, нависая друг над другом, как‑то ухитряются расти почти на отвесной скале и не падать. По тропинке гуськом тянулись богомольцы. Всего больше было хохлов из соседних уездов, но было много и дальних, пришедших пешком из Курской и Орловской губерний; в пестрой веренице попадались и мариупольские греки‑хуторяне, сильные, степенные и ласковые люди, далеко не похожие на тех своих хилых и вырождающихся единоплеменников, которые наполняют наши южные приморские города; были тут и донцы с красными лампасами, и тавричане, выселенцы из Таврической губернии. Было здесь много богомольцев и неопределенного типа, вроде моего Александра Иваныча: что они за люди и откуда, нельзя было понять ни по лицам, ни по одежде, ни по речам.

Тропинка оканчивалась у маленького плота, от которого, прорезывая гору, шло влево к скиту неширокое шоссе. У плота стояли две большие, тяжелые лодки, угрюмого вида, вроде тех новозеландских пирог, которые можно видеть в книгах Жюля Верна. Одна лодка, с коврами на скамьях, предназначалась для духовенства и певчих, другая, без ковров — для публики. Когда крестный ход плыл обратно в монастырь, я находился в числе избранных, сумевших протискаться во вторую. Избранных набралось так много, что лодка еле двигалась, и всю дорогу приходилось стоять, не шевелиться и спасать свою шляпу от ломки. Путь казался прекрасным. Оба берега — один высокий, крутой, белый с нависшими соснами и дубами, с народом, спешившим обратно по тропинке, и другой — отлогий, с зелеными лугами и дубовой рощей, — залитые светом, имели такой счастливый и восторженный вид, как будто только им одним было обязано майское утро своею прелестью. Отражение солнца в быстро текущем Донце дрожало, расползалось во все стороны, и его длинные лучи играли на ризах духовенства, на хоругвях, в брызгах, бросаемых веслами. Пение пасхального канона, колокольный звон, удары весел по воде, крик птиц — всё это мешалось в воздухе в нечто гармоническое и нежное. Лодка с духовенством и хоругвями плыла впереди. На ее корме неподвижно, как статуя, стоял черный послушник.

Когда крестный ход приближался к монастырю, я заметил среди избранных Александра Иваныча. Он стоял впереди всех и, раскрыв рот от удовольствия, подняв вверх правую бровь, глядел на процессию. Лицо его сияло; вероятно, в эти минуты, когда кругом было столько народу и так светло, он был доволен и собой, и новой верой, и своею совестью.

Когда немного погодя мы сидели в номере и пили чай, он всё еще сиял довольством; лицо его говорило, что он доволен и чаем, и мной, вполне ценит мою интеллигентность, но что и сам не ударит лицом в грязь, если речь зайдет о чем‑нибудь этаком...

— Скажите, какую бы мне почитать психологию? — начал он умный разговор, сильно морща нос.

— А для чего вам?

— Без знания психологии нельзя быть учителем. Прежде чем учить мальчика, я должен узнать его душу.

Я сказал ему, что одной психологии мало для того, чтобы узнать душу мальчика, и к тому же психология для такого педагога, который еще не усвоил себе технических приемов обучения грамоте и арифметике, является такою же роскошью, как высшая математика. Он охотно согласился со мной и стал описывать, как тяжела и ответственна должность учителя, как трудно искоренить в мальчике наклонность к злу и суеверию, заставить его мыслить самостоятельно и честно, внушить ему истинную религию, идею личности, свободы и проч. В ответ на это я сказал ему что‑то. Он опять согласился. Вообще он очень охотно соглашался. Очевидно, всё «умное» непрочно сидело в его голове.

До самого моего отъезда мы вместе слонялись около монастыря и коротали длинный жаркий день. Он не отставал от меня ни на шаг; привязался ли он ко мне, или же боялся одиночества, бог его знает! Помню, мы сидели вместе под кустами желтой акации в одном из садиков, разбросанных по горе.

— Через две недели я уйду отсюда, — сказал он. — Пора!

— Вы пешком?

— Отсюда до Славянска пешком, потом по железной дороге до Никитовки. От Никитовки начинается ветвь Донецкой дороги. По этой ветви я до Хацепетовки дойду пешком, а там дальше провезет меня знакомый кондуктор.

Я вспомнил голую, пустынную степь между Никитовкой и Хацепетовкой и вообразил себе шагающего по ней Александра Иваныча с его сомнениями, тоской по родине и страхом одиночества... Он прочел на моем лице скуку и вздохнул.

«А сестра, должно быть, уже замуж вышла!» — подумал он вслух, и тотчас же, желая отвязаться от грустных мыслей, указал на верхушку скалы и сказал:

— С этой горы Изюм видно.

Во время прогулки по горе с ним случилось маленькое несчастье: вероятно, спотыкнувшись, он порвал свои сарпинковые брюки и сбил с башмака подошву.

— Тс... — поморщился он, снимая башмак и показывая босую ногу без чулка. — Неприятно... Это, знаете ли, такое осложнение, которое... Да!

Вертя перед глазами башмак и как бы не веря, что подошва погибла навеки, он долго морщился, вздыхал и причмокивал. У меня в чемодане были полуштиблеты старые, но модные, с острыми носами и тесемками; я брал их с собою на всякий случай и носил только в сырую погоду. Вернувшись в номер, я придумал фразу подипломатичнее и предложил ему эти полуштиблеты. Он принял и сказал важно:

— Я бы поблагодарил вас, но знаю, что вы благодарность считаете предрассудком.

Острые носы и тесемки полуштиблетов растрогали его, как ребенка, и даже изменили его планы.

— Теперь я пойду в Новочеркасск не через две недели, а через неделю, — размышлял он вслух. — В таких башмаках не совестно будет явиться к крестному папаше. Я, собственно, не уезжал отсюда потому, что у меня приличной одежи нет...

Когда ямщик выносил мой чемодан, вошел послушник с хорошим насмешливым лицом, чтобы подмести в номере. Александр Иваныч как‑то заторопился, сконфузился и робко спросил у него:

— Мне здесь оставаться или в другое место идти? Он не решался занять своею особою целый номер и, по‑видимому, уже стыдился того, что жил на монастырских хлебах. Ему очень не хотелось расставаться со мной; чтобы по возможности отдалить одиночество, он попросил позволения проводить меня.

Дорога из монастыря, прорытая к меловой горе и стоившая немалых трудов, шла вверх, в объезд горы почти спирально, по корням, под нависшими суровыми соснами... Сначала скрылся с глаз Донец, за ним монастырский двор с тысячами людей, потом зеленые крыши... Оттого, что я поднимался, всё казалось мне исчезавшим в яме. Соборный крест, раскаленный от лучей заходящего солнца, ярко сверкнул в пропасти и исчез. Остались одни только сосны, дубы и белая дорога. Но вот коляска въехала на ровное поле, и всё это осталось внизу и позади; Александр Иваныч спрыгнул и, грустно улыбнувшись, взглянув на меня в последний раз своими детскими глазами, стал спускаться вниз и исчез для меня навсегда...

Святогорские впечатления стали уже воспоминаниями, и я видел новое: ровное поле, беловато‑бурую даль, рощицу у дороги, а за нею ветряную мельницу, которая стояла не шевелясь и, казалось, скучала оттого, что по случаю праздника ей не позволяют махать крыльями.